

Плоть в творчестве Толстого и Достоевского:
Slavic Sins of the Flesh Рональда Д. ЛеБланка

Елизавета Илларионова

Книга

Рецензия эссе Рональда Д. ЛеБланка *Slavic Sins of the Flesh: Food, Sex, and Carnal Appetite in Nineteenth-century Russian fiction*, University of New Hampshire Press, Durham, New Hampshire

Контакт

elys.rock@libero.it

Эссе Рональда Д. ЛеБланка *Slavic Sins of the Flesh: Food, Sex, and Carnal Appetite in Nineteenth-century Russian fiction* было опубликовано в 2009-м году, но исходит из давнего интереса автора, который уже участвовал с двумя выступлениями в конференции, проведенной в Гарварде в 1993-м году и посвященной теме пищи в русской истории и литературе. Эта работа, следовательно, принадлежит к течению так называемой 'гастрокритики', которое развилось в последние годы в Соединенных Штатах и занимается ролью, которую еда играет в литературе разных авторов и эпох. Рональд Д. ЛеБланк начал гастрокритические исследования о русской литературе в девяностых годах прошлого века, и данная книга объединяет результаты этих его предыдущих работ – работ, которые касались в основном таких авторов как Достоевский, Толстой, Гончаров, Олеша и советских писателей двадцатых и тридцатых годов.

ЛеБланк добавляет к гастрономической теме тему сексуальную, связанную с пищей начиная от самой этимологии слова «плотский», которая «possesses, in addition to its more common sexual referent, an alimentary one as well: that is, it can just as easily refer to the meat consumed in one's diet as to the bodily pleasure enjoyed in sexual intercourse».¹ Не только потому, что гастрономические метафоры часто используются в отношении сексуальности, но и потому, что обе эти деятельности ведут к удовольствию, а значит, будут одинаково перевозносимы гедонистами и репрессированы теоретиками умерщвления плоти. Так получается, что «what began as a book largely about food and appetite thus mutated into a book largely about sex and passion».²

¹ Ronald D. LeBlanc, *Slavic sins of the flesh*, University of New Hampshire Press, Durham, New Hampshire, с. 1 [обладает, вдобавок к своему более привычному сексуальному значению, также и значением гастрономическим: то бишь, может относиться столько же легко к мясу, используемому в диете человека, как и к физическому удовольствию, испытываемому в сексуальном сношении.]

² Там же, с. 227 [то, что начиналось как книга, посвященная в основном еде и аппетиту, скоро превратилось в книгу, посвященную в основном эротике и страсти.]

Анализируются наиболее подробно двое гигантов русской литературы девятнадцатого века, Толстой и Достоевский, сравниваемые теперь не в отношении стиля или поэтики их произведений, но в том, что касается изображения в их работах сфер пищи и эротики в их обоюдном соотношении. Начиная с введения, ЛеБланк уточняет, что главной темой его работы станет изучение того, «how certain Russian writers used the language of food and the imagery of eating to express male heterosexual desire».³ Следовательно, диапазон исследования сужается и касается почти исключительно двух различных метафорических полей, с которыми наши авторы подходят к сексуальной теме.

Противопоставление в 'гастропоэтиках' наших двух авторов лежит таким образом «between Dostoevskian “carnivorosity”, where eating and sexual intercourse are both portrayed as acts of violence, aggression, and domination, and Tolstoyan “voluptuousness”, where eating and sex are instead understood as acts of libidinal enjoyment, delight, and indulgence».⁴ Другими словами, персонажи Достоевского рассматривают сексуальность как акт жестокости, в котором обычно самец «похищает» незащищенную самку, чтобы осуществить над ней извращенную и деспотическую власть, которая не приводит к удовольствию ни одной из сторон (но иногда роли меняются: «it can quite often be the female partner who functions as the predatory spider and the male who serves as her unwitting prey»⁵), в то время как толстовские герои видят ту же деятельность главным образом как источник либидного удовольствия для обоих партнеров, при том что один не угнетается другим. В прочих местах два полюса «плотоядности» и «сладострастия» определены и другими терминами: так, мы находим «“devouring” against “tasting”, [...] power against pleasure»⁶, и основное противопоставление, на котором держится трактовка ЛеБланка: «the Dostoevskian notion of predatory “bestiality” (*зверство*)»⁷ против «the Tolstoyan idea of hedonistic “animality” (*животность*)»⁸.

Чтобы объяснить это противопоставление, критик анализирует сравнения и метафоры, в которых персонажи этих двух авторов – особенно персонажи, несущие в себе наиболее мощную чувственность, и особенно в моменты ее проявления – сравниваются с животными. Так выясняется, что фауна, обитающая в романах Достоевского, принадлежит почти исключительно к категориям насекомых, арахнидов, ловчих птиц и рептилий: животных плотоядных, хищных и рассматриваемых как типичные символы жестокости, «species of predator Dostoevsky invokes to convey to readers the highly rapacious nature of some of his fictional characters».⁹ Толстой, напротив, предпочитает сравнивать своих персонажей с «domesticated but still selfish, greedy, and pleasure-seeking creatures,

³ Там же, с. 2 [как некоторые русские писатели использовали язык гастрономии и символизм процесса еды для выражения мужского гетеросексуального желания.]

⁴ Там же, с. 3 [между «плотоядностью» Достоевского, в которой и еда и сексуальная деятельность изображены как акты жестокости, агрессии и власти, и толстовским «сладострастием», где еда и секс рассматриваются, наоборот, как акты либидного удовольствия, радости, и потакания себе.]

⁵ Там же, с. 78 [может происходить довольно часто, что женщина ведет себя как хищный паук, а мужчина служит ей безвольной добычей].

⁶ Там же, с. 237 [«пожирать» против «пробовать», [...] власть против удовольствия].

⁷ Там же, с. 160 [понятие Достоевского хищного «зверства»].

⁸ Там же [толстовская идея гедонистической «животности»].

⁹ Там же, с. 79 [виды хищников, которые Достоевский вызывает, чтобы раскрыть читателям жадную, хищную натуру некоторых своих выдуманных персонажей.]

such as cattle, horses, dogs, and pigs».¹⁰ Иначе говоря, дикие и плотоядные животные у Достоевского, и домашние, приученные к удовольствиям животные у Толстого. На мой взгляд, различие можно было бы возвести также к социальному *milieu*, в котором жили и которое описывали эти писатели: соответственно, нувориши (недаром часто называемые «акулами») или борющиеся за выживание бедняки, с одной стороны, и «одомашненные» и благовоспитанные аристократы с другой.

После двух глав, посвященных каждая одному из этих великих писателей, следующий раздел относится к культурной обстановке в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие революции 1917-го года, и к эпигонам, применявшим гастрономические стилиемы Толстого и Достоевского. Анализируемые романы не имеют громкой славы, но являются в основном популярными произведениями на эротические или даже порнографические темы. Непомерный интерес к сексуальности был спровоцирован реакцией на открыто исповедуемую Толстым аскетическую религиозность, читаемую также между строк романов Достоевского (но об этом ниже). Так, «one of the most interesting turn-of-the-century advocates of carnal rehabilitation and sexual liberation who reacted strongly against Tolstoy's ascetic puritanism is Mikhail Artsybashev (1878-1927). A subtext of anti-asceticism and anti-Tolstoyism can be found in Artsybashev's "pornographic" best seller *Sanim*».¹¹ В этом романе некоторые персонажи более или менее открыто исповедуют толстовское кредо, но все они охарактеризованы негативно; тем временем как главный герой и эпоним произведения утверждает необходимость свободной и счастливой сексуальности. По мнению Санина, человек должен быть гармоничным соединением тела и духа, в котором второй не подавлял бы желаний первого.

Но возврат к аскетизму происходит сразу после 1917-го года, когда большевистской этикой предписывается отказ от жизненных удовольствий в пользу революционной борьбы: «the pursuit of private, personal pleasure needed to be subordinated to the greater common good served by advancing the class interests of the proletariat».¹² Примером этой тенденции является рассказ Тарасова-Родионова *Шоколад*, сочетающий гастрономическую и сексуальную темы в фигуре сексапильной и развращенной секретарши главного героя, которая пытается совратить его не только физически, но и морально, даря его семье плитки шоколада – дефицитного и потому аристократического продукта, следовательно неподходящего для идейного большевика. Герой будет осужден за предательство революции и убедит себя в справедливости собственной казни: ведь он повинен в том, что принял если не сексуальные притязания, то хотя бы шоколад: деликатес, который бедные крестьяне не могут себе позволить, и который поэтому символизирует эксплуатирующий их класс.

В тридцатых годах политический – а потому также и литературный – курс Советского Союза радикально меняется. Сталин хочет продемонстрировать

¹⁰ Там же, с. 159 [одомашненными, но все еще эгоцентрическими, жадными и ищущими удовольствий созданиями, такими как скот, лошади, собаки и свиньи].

¹¹ Там же, с. 165 [один из самых интересных адвокатов реабилитации плоти и сексуального освобождения на смене веков, который резко отреагировал на аскетическое пуританство Толстого – Михаил Арцыбашев (1878-1927). Анти-аскетический и анти-толстовский субтекст обнаруживается в «порнографическом» бестселлере Арцыбашева *Санни*.]

¹² Там же, с. 178 [поиски частного и личного удовольствия должны были подчиняться высшему общему благу, служение которому способствовало классовым интересам пролетариата.]

внешнему миру, что коммунизм наконец достигнут, и народ СССР уже пользуется благосостоянием, произведенным своим справедливым социальным строем так же как, и более чем, эксплуатируемые буржуазией западные страны. Рождается общество и культура потребления: «luxury food items, [...] which had been unavailable just a few years earlier, suddenly became the focus of intensive economic planning».¹³ Следовательно, производство шоколада возрождается, и этот продукт, более не ассоциируемый с буржуазным стилем жизни, утрачивает всякое идеологическое значение. ЛеБланк делает далее скачок в более чем полвека, переходя к девяностым годам и открытию «cruel talent»¹⁴ Достоевского, которое вместе с освобождением литературы от жесткого государственного контроля способствует «the emergence of pornography, pulp fiction, and the “dark literature” of morbidity (*chernukha*), but also the return of tropes of alimentary violence».¹⁵ Анализу, к тому же весьма краткому, подвергаются только два современных автора, Виктор Пелевин и Владимир Сорокин: каждый из них по-своему пользуется реминисценциями из Достоевского, сравнивая людей с плотоядными насекомыми и подчеркивая жестокость и каннибализм, присущие человеческой природе. Однако стоит заметить, что трактовка реминисценций Достоевского даже только в девяностых годах двадцатого века заслуживает гораздо большего пространства и касается намного большего количества авторов, чем следует из этого эссе.

В заключении противопоставление Толстого Достоевскому, проведенное через весь текст, наконец разрешается. Становится очевидным, что их отношение к еде и сексуальности – по разным, но равно связанным с религией причинам – в сущности одинаково: «in a decidedly old-fashioned, premodern way, both Dostoevsky and Tolstoy regarded the gratification of our carnal appetites as constituting “sins” of the flesh».¹⁶ Эти писатели были объединены также общим отрицанием идей Дарвина и Ницше, двоих мыслителей, которые равно концентрировали внимание на «зоологическом Я» («zoological self») человека, игнорируя его божественное происхождение и, следовательно, отрицая необходимость стремления к моральному совершенству. Согласно ЛеБланку, эта позиция обусловлена влиянием Православной Церкви, помешавшей модернизации страны, так что «carnal appetites [...] tended to be perceived by many educated Russians at the time not as normal features of the desiring body, but rather as profane, sinful desires emanating from an unruly animal nature inside man that must be forcibly restrained and tamed».¹⁷ Приход современности означал для России необходимость поставить перед собой долгое время подавленные вопросы, касающиеся человека в его двойственности тела и души, животного и рационального существа. Не только сексуальный вопрос, следовательно; «the process of “becoming modern” during the second half of

¹³ Там же, с. 191 [роскошные продукты питания, которые было невозможно достать всего несколько лет ранее, внезапно попали в фокус интенсивного экономического планирования]

¹⁴ Там же, с. 223 [жесточкого таланта].

¹⁵ *Ibidem* [появлению порнографии, криминального чтива и нездоровой «черной литературы» (*чернухи*), но также и возвращению тропов гастрономической жестокости.]

¹⁶ Там же, с. 235 [решительно старомодно, несовременно, Достоевский и Толстой оба рассматривают удовлетворение наших плотских appetites как составляющее «грехи» плоти.]

¹⁷ Там же, с. 236 [плотские appetites склонны были ощущаться культурными россиянами того времени не как нормальные характеристики воделеющего тела, но скорее как мирские, греховные желания, исходящие от бесконтрольной животной природы человека, которая должна быть насильно обуздана и приручена.]

the nineteenth century in Russia put into question what it meant to be a human being».¹⁸ И плотские желания, демонизированные или обожествленные, помогают объяснить человеческую природу.

В общей сложности, эссе Рональда Д. ЛеБланка имеет то достоинство, что дает нам возможность посмотреть на работы Достоевского и Толстого с непривычной точки зрения. И эта работа – не только чисто «гастрокритическое» исследование (еще малоизвестное в Италии и потому, возможно, внушающее подозрения), которое не интересуется ничем кроме «пищевых» аспектов этих писателей. ЛеБланк, напротив, изучает отношение к телу и к его желаниям, первостепенное в двух авторах с сильной, хоть и не традиционной, религиозностью. Разными (но, как мы видели, не противоположными) способами, Толстой и Достоевский посвящают много сил и страниц проблеме тела; и гастрокритический анализ, в этом случае, прекрасно подходит для изучения их отношения к этой теме.

Еще более интересна нарисованная ЛеБланком картина русского общества между последними десятилетиями девятнадцатого и тридцатыми годами двадцатого века. В период, когда современность еще не победила прочно связанную с прошлым страну – и в народной религиозности, и в менталитете интеллигентов, как славянофилов, так и западников. Правда или нет, что Православная Церковь сыграла преобладающую роль в торможении прогресса, нет сомнения, что в указанный период модернизация то продвигалась рывками вперед, то останавливалась с сожалениями о традициях; и отношение к еде и к сексуальности отражает лучше других показателей постепенное изменение русской этики.

Единственный недостаток, который можно указать в интересной работе ЛеБланка – недостаток проверки и лингвистической корректуры, который оставил в печатном тексте некоторое количество ошибок в русских терминах, иногда цитируемых (в английской транскрипции) при определении ключевых понятий. В остальном книга хорошо отредактирована, имеет большую библиографию и видимое усердие в соизмерении и организации разных частей и отдельных глав. Можно оспорить также решение использовать два разных типа английской транскрипции для русских слов, одну главным образом для имен, появляющихся в основном тексте (Thomas Shaw's System I, упрощенная) и другую для примечаний, библиографии и терминов, цитируемых в тексте, но в скобках (Shaw's System II, более аккуратная). Расхождения в написании между текстом и примечаниями могут создать проблемы именно тем читателям, мало сведущим в русском языке, для которых ЛеБланк и использует Shaw's System I в тексте; к тому же в цитатах разных, особенно англоязычных, авторов, транскрипции следуют еще другим критериям. Недостатки Shaw's System I видны невооруженным глазом: достаточно сказать, что один и тот же символ "y" используется в 4-х разных ситуациях, переводя в общей сложности 6 разных звуков: 1) для окончания «ий» (которое в итальянской транскрипции обычно пишется "ij"): Достоевский пишется, следовательно, Dostoevsky; 2) но также и для окончания «ый» (по-итальянски "uj"): Белый пишется Bely; 3) для звука «ы» (который так же пишется и по-итальянски); 4) для обозначения, вместе с еще одной гласной, звуков «я» ("ya", по-итальянски "ja"), «ю» ("yu", по-итальянски "ju") и «ё» ("yo", по-итальянски "jo" или "e").

¹⁸ Там же, с. 237 [процесс модернизации в течении второй половины девятнадцатого века в России поставил вопрос о том, что означает быть человеком.]